

Мамардашвили, человек слова¹

Mamardachvili M.
La Pensée empêchée. Entretiens
de Merab Mamardachvili avec
Annie Epelboin.
P., 1991. Éd. de l'Aube, 105 pp.

Сократ не был человеком пера — или, точнее, писчей палочки. После него не осталось, как известно, ни одного текста, ни одной строки. Гораздо менее известно, что он — один из тех редких персонажей классической древности, детальный портрет которого, пусть прилизанный современниками, дошел до нашего времени. Его лицо Алкивиад (по словам Платона) сравнил с ликом сатира Марсия: это выпуклый лоб, переходящий в лысину, приплюснутый, с широкими ноздрями нос, мясистые губы, выпученные, навыхате глаза и прежде всего — манера смотреть исподлобья, как глядит бык, или искоса бросить на вас эдакий долгий, пронзительный и ироничный взгляд.

И вот, когда в прошлом году, в Высшей школе социальных наук, я слушал Мераба Мамардашвили на его семинаре, мне со всей очевидностью предстало то, что я смутно ощущал уже давно, не отдавая себе в том отчета, — физическое сходство грузинского философа с Сократом. Видимо, мне с самого начала не давал покоя этот взгляд — взгляд, которым Мераб смотрел на меня еще в шестидесятые, когда, бок о бок шагая по московским улицам, дабы никто не мог нас подслушать, мы говорили, говорили. Засыпая меня вопросами, но так и не доверяясь полностью, он поглядывал на меня искоса и исподлобья, и я, смущенный, начинал сомневаться, впрямь ли он внимает моим словам или же попросту морочит мне голову. У Мераба в ту пору имелось достаточно оснований быть осторожным и не открывать первому встречному свое истинное лицо — то, что он называл «скрытой, неведомой отчизной, второй родиной всякого сознательного существа» и что

вместе с ним можно еще именовать «мыслением» — тем самым мышлением, которое, выражаясь его же словами, «не естественно присуще человеку, но вырастает из сверхчеловеческого усилия». «Мысль под запретом» — таково название небольшой книжки бесед Мераба Мамардашвили с Анни Эпельбойн, которую издательство «Editions de l'Aube» выпустило уже после смерти философа. Мераб, как и Сократ, не был человеком письма. И, думается, по тем же причинам. И для того, и для другого мыслить значило жить. Одушевленное слово, слово живое, распускающееся по поводу и в момент встречи с другим, когда словами обмениваются à propos, «кстати», — философия как мудрость и искусство жить целиком заключены, говорит нам Мераб, в формуле «жить кстати», так вот, это живое слово, *logos empsychos*, противостоит слову писаному, *logos gegrammenos*. Ибо буквы, *grammata*, для грека суть *apsycha*, неодушевлены. Перенести на бумагу живой голос — значит убить его, иссушив все то своеобычное и неожиданное, что в нем есть. «Природа, — говорит Мераб, — не производит человека. По-настоящему мы рождаемся лишь при втором рождении. Данте прекрасно сказал, что приплод как таковой души не имеет — А что же тогда дарует душу? — спрашивает Анни Эпельбойн — Слово!»

Сократ жил философией и мышлением, обсуждая со всеми, с кем он сталкивался на Агоре, вещи самые, казалось бы, банальные и прозаические. Калликл негодует: «Ты все про кушанья, про напитки, про врачей, про всякий вздор» (Горгий 490d), или вот Алкивиад: «На языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекый человек готов поднять его речи на смех». «Тем не менее, — прибавляет Алкивиад, — если раскрывать их и заглянуть внутрь, то сначала

¹ Libération, 1 Aout, 1991.

видишь, что только они и содержательны, а потом, что речи эти божественны... «и стремятся к самым высоким предметам» (Пир 221e-222a)².

В свою очередь и Мераб, даже когда ему предстояло прочесть лекции самым прилежным слушателям, был очень и очень далек от того, чтобы «учительствовать». Как это было возможно? Философия была для него не «профессией» — «способом существования» (р.54). Вот он говорит, сосредоточенно, без каких-либо предварительных записей, он не излагает теорию, не выстраивает системы и не изощряется в понятиях. Он не пророк, не богослов, не теоретик (что не мешало его дружбе с Лук Альтюссером). В лекционном зале Мераб мыслит вслух, по мере того как мысли приходят сами, а взгляды, которые он незаметно бросает то в одну, то в другую сторону — на каждого слушателя, — дают понять сидящим перед ним, что он обращается к каждому лично, в его самости, чтобы затем «устремиться к самым высоким предметам» по поводу всего и ничего. Послушаем Мераба: «Когда я читаю лекции или делаю доклад, то я и есть здесь и сейчас, я открыт, и здесь и сейчас я разыгрываю свою жизнь. Я весь тут, с моими проблемами, я рискую собой, и это очевидно для моих слушателей: и вот они идут вместе со мной, узнавая в том философском инструментарии, который использую я, свой собственный опыт, ибо использую его я сам, и использую, соотнося исключительно с экзистенциалом моей собственной жизни» (р.19).

Я вспоминаю латиноамериканских студентов, учившихся у него, когда какое-то время он был преподавателем в каких-то московских институтах, то ли марксизма-ленинизма, то ли международного рабочего движения. Так вот, что касается их отношения к марксизму

² Цитата дана в переводе С. Апта (см.: Платон. Соч. в 3-х томах — М., 1969, т.2), однако окончание ее, заключенное здесь в угловые скобки, приведено в соответствие с французским текстом, поскольку именно эти слова становятся своеобразным рефреном рецензии. (Прим. перев.)

как теории общественной формации, то, вернувшись из СССР, эти молодые люди разделяли уже взгляды человека, главной задачей которого считалось как раз «оболванивание» их этим самым марксизмом, «незамутненным и простым идиотизмом, простенькой концепцией, предназначенной специально для того, чтобы весь мир оказался втиснутым в малюсенькую головенку, не желающую сделать и крошечного мыслительного усилия» (р.41). На сером фоне официального образования, построенного на зубрежке, память этих студентов сохранила образ эдакого чудила, силена: он настежь распахивал запертые окна, но как бы вовсе и не прикасаясь к ним, и вместо того, чтобы усыпить пробуждал к мысли, к жизни, к самим себе.

Тоталитарная система та, которой удалось подморозить умственную активность. Зачем думать? Обо всем уже подумали — за вас, вместо вас, и об окружающем мире, и об обществе, в котором вы живете, и о происходящих событиях, и о ваших желаниях, и о том, что есть вы сами, — смысл всего этого уже известен, определен и установлен до вас и за вас. «Говоря языком тоталитаризма — существует только то, что «уже подумали». Подумали вместо тебя, за тебя. Чувство, которое я испытываю, уже вписано в язык уже закреплено в нем. Уже известно, что я испытываю. Если я делаю опыт, хотя я еще не успел извлечь из него смысл, этот смысл уже извлечен, образ существует» (р.35). Образ мертвый, призрачный, безжизненный двойник реального существа, конкретного индивидуума, — то, что Сократ у Платона называет *eidolon arsychon*, бездушная иллюзия, манекен, имеющий к человеку из плоти и крови «такое же отношение, как мертвая буква к живому слову». «Все у нас было нереально, — рассказывает Мераб, — мы были вроде несуществующих существ, которые говорят о несуществующих вещах, рассуждают о несуществовании». В мертвом образе самих себя вы чувствуете себя, как на костре. «Я был заживо сожжен внутри отштампованного образа меня самого, того, что я чувствую, и того, что я

мыслью. Потому что вместо меня «уже подумали» (р.36).

Но как же смогла сохраниться, воскреснуть и ожить мысль у несметного числа советских людей, которых Мераб определяет как self-made, каковым считает и себя, в этом царстве льда и камня, где огонь, воспламенявший человека революции, горел уже только для того, чтобы пожрать изнутри непокорных: «Я сам для себя открыл этот путь. У меня не было недостатка ни в чтении, ни в той тайной интеллектуальной жизни, которая происходила между мной и книгой, мной и словом, пришедшим ко мне откуда-то издалека. Но, знаете ли, человек — создание, приходящее издалека. Человек — очень «долгое» создание, иначе говоря, он выковывается не сразу, на это требуется время» (р.16). И еще: «Для меня, самоопределявшегося в противовес отсутствию жизни, тому черному туннелю, в котором я вынужден был жить и не жить, молодость заключалась в полном смысле слова в связи с традицией: речь идет не о какой-нибудь традиции, а о традиции бессмертия. Странно говорить это, ибо я верующий не в конфессиональном, а в философском смысле... Бессмертие — это слово, т.е. искра воскресения мертвого времени в человеке... Слово есть вечный акт, в котором мы участвуем в качестве людей» (р.12).

Если вы хотите узнать, откуда пришел тот далекий голос, который зажег в Мерабе пламя бытия, пламя без-смертия — словно, вновь завязывая разговор с теми, кто на протяжении человеческой истории говорил ради поддержания жизни мышления, он добился второго рождения и установил новые отношения с самим собой, — прочтите эти беседы, послушайте, как Мераб «кстати» разговаривает с Анни Эпельбойн. Вам отрадно будет узнать, что этот голос говорил по-французски, языком Вийона, Монтеня, Декарта, Расина и Пруста. Вы поймете, что ваш образ homo sovieticus из бетона, воспроизведенного без изменений и изъянов в миллионах экземпляров, — всего лишь миф, оставленный в стороне и драму, пережитую советской интеллигенцией, и реально су-

ществующий выбор между добром и злом в эпоху постбольшевизма.

Нельзя убить мысль, — говорит Мераб. Самый тоталитарный, самый жестокий режим не может уничтожить жизнь. Однако для этого, относительно, оптимизма есть противовес. Если человек стремится к трансценденции (а в этом именно и состоит условие человеческой истории), стремится к самому высокому, как говорил Алкивиад о рассуждениях Сократа, то «культуры — и именно в этом условии их существования — всегда враждуют с трансценденцией, всегда сковывают человеческое существо, потому что культура тяготеет к порядку, устойчивости» (р.47).

Урок, над которым стоит задуматься: когда в Афинах была свергнута тирания Тридцати, а демократия восстановлена, именно тогда и был приговорен к смерти Сократ, обвиненный в совращении юношества. Мераб счастлив был видеть, как пали цепи тоталитаризма, однако его не оставляло чувство какого-то беспокойства. В национальном вопросе, даже если речь идет о надеждах на полноту жизни, заметил он, «таятся ловушки фашистского толка» (р.35). «У нас, — при этом он думал о своей Грузии, невероятная жизнерадостность которой тайными узлами связывает ее с французской культурой, — у нас патриотизм замещает Свет Разума или хочет стать на его место. Ну а я, я — на стороне Света» (р.44). В начале книги Анни Эпельбойн напоминает, что за две недели до смерти Мераб сказал о новом грузинском правительстве: «Я не боюсь гражданской смерти, я уже побывал во внутренней ссылке. Но я противостою тем, кто сегодня сулит новое рабство. Я борюсь не за грузинский язык, но за того, кто высказывается на этом языке. Не веры хочу, хочу свободы совести».

Так пусть же по призыву этого живого голоса каждому захочется разнести завалы на своем пути. Ведь есть много способов «поставить мысль под запрет».

Жан-Пьер Вернан

Перевод Т.А.Уманской